

Евгения СКОБИНА

Евгения Скобина родилась в 1988 году в Москве. Училась в РГАУ-МСХА имени Тимирязева, на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького, в магистратуре ВШЭ по программе «Литературное мастерство». Работает копирайтером (фриланс). Публикуется впервые.

КУРКОВ ДОМ

Повесть

Глава 1

Аня и сундук мертвеца

– Аня, что барин кладет в карман, а крестьянин бросает на землю?

– Не знаю, дед! Что?

– Сопли.

Темная гряда леса напознала, и тревожно дуло с полей. Световые всполохи освещали сундук мертвеца. Что происходит на зеленых выгонах ночью, кто бродит по тропинкам, кто свистит, кто ломает в лесу ветки? В темноте, нечаянных сумерках мерещилось движение. Казалось, что из леса кто-то высовывает руки, но пока полыхают зарницы, не решается выйти. Надвигалась гроза, и я знала, что она, темная, страшная, погромыхивая железными гирями, каждая в десять пудов, придет. Она обовьет цепями мой дом, будет сдавливать и прыскать токами.

Я не могла отыскать двух вертлявых котят, и в ужасе представляла себе, как они проведут ночь на улице. Они лазали под сараем, и мне никак не удавалось их выманить. Меня снова позвали домой. Голос бабушки был сердитым, она больше не собиралась меня уговаривать. Я еще раз посмотрела на розовые флажки света на синем грозовом небе. Там, вдалеке, изливались дождевые потоки на Волгу.

– Река грозу притягивает, – сказала бабушка. – Идем в дом.

Низкая дверь заставила меня нагнуть голову. В дальнем углу сидели пауки с жирными тельцами, я боялась их до одури, а бабушка, сматывая паутину на кулак, говорила:

– Ничего, они добрые вести приносят.

Я торопливо запрыгала по лестнице. Пахло неприятно, а попросту воняло. Внизу курятник, а прямо по курсу ватерклозет: дырка, два метра свободного падения и болото дерьма. Бабушка, или, как ее называли деревенские, «московская барыня», не любила водить здесь гостей. С одной стороны – что естественно, то не безобразно, а с другой стороны, люди терпеть не могут выставлять свою человеческую природу. Каждый норовит вывернуться таким образом, чтобы показать, что все это ему чуждо. Я закрыла дверь на железный крючок, будто это могло остановить грозу. На кухне плавилась, сбегая желтыми дорожками, длинные свечи. Я села на сундук, согнулась, убрала бахрому скатерти и защелкала ключом: двенадцать оборотов – и музыка. Низкая, звучная, как удары колокола, которые неслись по полям после дождя и оглушали морским прибором. Сундук крепкий, железом окованный, сколько ему лет –

пропасть. Бабке он достался от мужа. Они вместе прожили в доме десять лет, пока дед не свалился с лестницы и не проломил себе череп.

– Сказку, бабушка, – попросила я.

– Гармонист за мной ухаживал, – сказала она, приминая большим пальцем тесто.

– Это сказка про Ивана-царевича?

– Волосы у него были легкие, светлые, как лён. Девицы вокруг него шастали, а он за мной, как телок на веревочке. «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, лента в якорях». Помнишь, мы с тобой ее пели, когда ты была маленькой?

– Дедушке она не нравилась.

Стол, на котором бабушка раскатывала тесто – желтое, упругое, пышное, – был испещрен всяким. Этот стол мы с ней вытащили из Куркова дома, но вандалы, они же подростки, уже успели над ним надругаться. После бабушкиного разъяснения я перестала задавать вопросы о сакральном смысле буквосочетаний. Надпись «Гоша – дурак», где вместо буквы «д», стояла «м», была одной из самых ласковых. И если текст не имел значения, то имело значение тесто.

Ничего бабушка не умела и не любила готовить так, как пироги. Как когда-то учила бабушку ее мать, так теперь бабушка учила меня месить, раскатывать и вырезать форму. Во время этой учебы я, конечно, набивала живот. На столе стояли три стеклянных вазочки, в одной варенье – куманичное, в другой – земляничное, в третьей – черничное. И хотя клубника и смородина ягоды вкусные, не было им места в избранном кружке. Только ягода лесная, омытая дождями, взлелеянная мхами и пропитанная солнцем, могла спорить за вакансию. Если не было куманики, а это вполне могло быть, потому как куманика – ягода быстрая, мелькнет в июле и исчезнет, в ход шла малина. Пироги бабушка делила на три отсека, которые потом переплетала тестом. Ягоды мы собирали вместе, а потом она варила их на улице и снимала белую с червлёной каемкой пенку. Рядом кипел самовар. Бабушка на самый верх, в корону, укладывала еловые шишки и поджигала. Золотистые чешуйки тлели и дымились. Налетающий ветер относил черные струйки в цветущий сад.

– Гармонист меня в Москву позвал, сказал, что на фронт уезжает, что проводы будут. Мамочке моей, Царствие ей Небесное, я правду сказать не могла, соврала, что вербой пойду торговать. Дело перед Пасхой было. Адрес у меня на клочке бумаги был записан, на газете. Не почерк, а каракули, но я все разобрала. Блуждала по улицам, с правой на левую сторону перескакивала, нашла. Постучала, спросила, а мне мать его говорит, что я на день опоздала. Вот так, моя хорошая.

– А дед как же?

– Дед твой на два класса старше учился, с братом моим дружил, дома бывал у нас часто. Я его, прости господи, с печки столкнула, когда он ко мне с глупостями полез. А через две недели он пришел к моему отцу и поставил ему самогон. Пока они сговаривались, я в бане слезы отирала. На побывку едет молодой моряк, – бабушка подхватила железный лист, легко поднялась с лавки и запела. Низкий, чуть дребезжащий голос, заполнил маленькую кухню. – Идем, тебе спать пора, и я тоже чуток вздремну.

Прежде чем занавесить окна, бабушка всмотрелась в синеву за окном, которую на части резали молнии. Она пробормотала: «Страсти-то какие», – и перекрестилась. Я нырнула в кровать и прижалась спиной к печке. Русская печь занимала всю стену, приятно пах распалившийся кирпич. Белая краска местами обвалилась, и проступила рыжина, она рисовала фигуры, морды, карты, буквы, знаки. Читать ее можно было справа налево, слева направо, сверху вниз и наоборот. Я водила рукой по краям и старалась не обращать внимания на зловещие отсветы. Толстое, стеганное, в два

пальца одеяло пахло солнцем. За перегородкой застонал топчан под тяжестью бабушкина тела. Дождь лупил по крыше, хлестал по стене и падал на траву, которая сминалась, сгибалась в самом низжайшем поклоне.

– Бабушка! – позвала я. – Бабушка!

Размерено шагали ходики, и мне казалось, будто я осталась совсем одна в большом, холодном доме, где единственным безопасным местом была кровать. Вода, должно быть, уже плещется по полу, и меня вот-вот затопит. И на кровати, с железными поручнями, с разболтавшимся резным изголовьем, меня уносит. Куда? В темный лес, где хрустят, сражаясь, над головой ветки, где страшно кричит птица, где болото, яма, которая засасывает в земное ядро, где свищут змеи, где ломают кабаны, где давят ягоду медведи и гудят телеграфные провода. Я зажала пальцами рыжего котенка на печке, сомкнула глаза и уснула. Но через сон я все-таки продолжала слышать, как свирепствует первобытная стихия, пытаюсь разломать маленький домик под оранжевой крышей, единственное место в мире, где я могла спрятаться.

Глава 2

Аня и Курков дом

– Дед, зачем ты положил грязную ложку обратно в сервант?

– Я ее облизал, Аня. Отличишь от чистой?

(звон столовых приборов)

– Нет!

Они приезжали туда каждое лето, маленькая деревенька в семь домов, всего в двадцати пяти верстах от города. Дом на зиму не заколачивали, ставили на харч сторожа, а летом возвращались. Гунька выбирался с фазенды Сурниковых весь синий. «Фу, черт, весь спился», – говорила Нина Марковна. «Малек дал лишку», – теребя обвисшую на шее кожу, отвечал Гунька. С пятого раза он заводил мотоцикл и убирался восвояси. Долго по каменной дороге – вся в разноцветную пупырышку – дребезжала пустыми бутылками люлька. Говорили, что каменка застала еще Екатерину Великую, что ездила она по этим мощенным бульжниками дорогам по государственным делам и что старые, заросшие чагой березы, несшие караул на обочинах, тоже в свое время кланялись императрице. Так говорили, но в деревнях вообще любили поговорить. Предметом разговоров долгие годы был Курков дом. Упирался он верандой в проезжую часть и, оставленный своими хозяевами, разрушался. Сашка Курков приезжал распахивать огород и сажал картошку. В расхристанной рубашке он вваливался на двор к Нине Марковне, чтобы напиться воды, чем вводил невестку «московской барыни» в ужасное смущение. Желтые щеки покрывались краской, и она никак не могла отойти от своего гостя, изредка обмахивая его могучие плечи и налитый живот сорванным лопухом.

Нине Марковне шел тридцать седьмой год, сложения она была хлипкого, воспитания интеллигентного, состояла в замужестве и имела одну дочку, которую ласково звала Нюсей. Курков насчитывал годков немногим меньше, парень был видный, плечистый и, хотя пил много, на лицо был пригож. Он жадными глотками хватал холодную воду и скользил глазами по открытой груди соседки. Нина Марковна торопливо запахивалась и смущенно улыбались. Сашка рассказывал про волков, которые зимой перетаскали немало скотины. Что ни ночь – одной овцы не досчитывались. Подсказала одна баба поставить на постой бодливую козу. Нашли

такую у одной старушки, в чем только душа держится, а двух коров блюла исправно. Сама маленькая, сгорбленная, вся черная, а руки спорые. И огород, и скотный двор, и мужиков своих: троих сынков – в ежовых рукавицах держала. Семенила она по деревне, а за ней маленькая собачка как резиновый мячик прыгала – Динька.

– Коза у нее злющая, – сказал Сашка. – Рога как у лося, морда как у летучей мыши. Забирали с братом в перчатках и ватных штанах. Все норовила боднуть, да так хитро, с подвывертом. Была бы моя воля – рога бы ей пообломал, того и гляди проткнет. Бабка на прощанье говорит: «Кормилица моя, вы уж ее берегите, она у меня в сердцах предобрая». Добрая, – повторил Сашка и закурил, – мы ее в загон, а она кишки поросенку тут же выпустила. Как будто ее для этого брали. На ужин закусь, значит, образовалась. Оставили козу на ночь, утром приходим: все овцы целы. Кровь до забора тянется и серую шерсть ветер треплет. Думали волк, оказалось, собака. Одичала.

Сашка снял с языка крошку табака, махнул Нине Марковне рукой и сказал:

– Ждите вечером.

Нина Марковна с затаенной тоской смотрела ему вслед и даже не стала браниться, когда заметила, что Курков оставил колодец открытым, а ведро на бортике полным. Подует ветер, слетит алюминий, цепь дзынькнет и порвется, потом лови десятилитровое металлической кошкой о шести крючках.

Бог знает, какими картинками было украшено воображение Нины Марковны, пока она готовила немудреные котлеты и давила пюре. Лоб ее покрылся испариной, на лицо набегала улыбка, кожа горела, и серебряное обручальное кольцо оставляло на ней дымчатый след. Умаявшись, она стукнула створками окна и, впустив на кухню ветер, прижала руки к щекам. Надо было куда-то справить дочку, но она не знала, дома ли питерские. Она тихонько позвала:

– Где ты мой бутончик на тоненькой шейке? Нюся!

Нина Марковна прошлась по комнате. По половым доскам, выкрашенным в темный коричневый, наплывчатый цвет, стлались разноцветные ковры. Толстые нити выписывали кренделя и сворачивались в улитку, замыкая фейерверк в точку. В доме стояла тишина, лишь изредка шебуршились мыши в подполье и бубнили часы. Нина Марковна дернула гирию на цепи и нахмурилась. Убежала друзей провести не спросясь. Как же теперь быть! И Сашку не принять и за дочь волноваться. Она прошлась по двору, заглянула в заросший сад – надо будет Сашку попросить, чтобы скосил в саду траву: сныть заполонила все. Ну да это после, после.

Через два часа трактор затарахтел у Нины Марковны под окном. Еще через час в кухню шагнул Сашка. Он, высокий, плечистый – под потолок, согнулся над низким рукомойником, и звякая, плескаясь вымыл шею и, едва не вогнав Нину Марковну в еще большую краску, подмышки, откуда перла густая поросль.

Сашка заглывал еду быстро, и казалось Нине Марковне, что он едва ее прожевывает. Насытившись, он притянул за поясочек женщину и жадно облапал. Нина Марковна даже не пискнула, вся подалась вперед. Она шарила своим цыплячьими, худыми руками по груди Куркова. Платье было смято, определено на пол, а Нина Марковна с Курковым оказались на широкой кровати. Сашка действовал напрямки и вскоре на изголовье забили своими языками колокольчики.

Нина Марковна и не заметила, как набегали за окном сумерки. Как похолодели поля и смочила травы роса, что солнце, утопая все дальше за горизонтом, черкает на краешке неба последние письма. Сашка откинулся и закурил. Нина Марковна поправила прическу. Ей вдруг стал неприятен и сам Сашка, и его дешевый табак – то ли «Беломор», то ли «Прима», и ей стало ужасно совестно, что она поддалась какому-то мороку. Она вспомнила про дочь и заволновалась.

– Ты мою Нюську не видел?

– Что ей сделается, – сказал Курков, шаря по кровати в поисках трусов.

Нина Марковна бегала по дому и из всех пяти окон – два выходили на юг, три на север – кричала:

– Нюся, домой. Дочка, домой, слышишь!

– Поехал я, – сказал Сашка.

Заскрипели пружины, когда он нагнулся за брюками. Нина Марковна бросила на Куркова умоляющий взгляд.

– Саша, миленький, выручай! Вдруг ее волки съедят.

Курков басом, раскатисто расхохотался.

– Скажешь тоже. Придет.

Трактор взревел и, мигая, пополз по дороге. Нина Марковна нацепила сапожки, схватила куртку и не помня себя выбежала на дорогу. Она металась по всей окрестности и выкрикивала имя дочери.

– Нюся, отзовись, дочка!

Она выбилась из сил, травы захлестнули ей ноги, и она упала. Нина Марковна рыдала и, выщипывая из земли цветы, чуть не изрезала себе пальцы. Она смолкла. День отгорал, вдалеке темнел лес, из которого пробирались тени и окружали несчастную женщину. Стихал шорох, повисал ветер, и только кузнецы вели свою ночную работу. Нина Марковна вскинулась, ей вдруг почудился звук, и материнское сердце всколыхнулось. Она бросилась в Сашкин огород, наткнулась на телегу и в сумерках, в потемках, увидела дочь. Она как лягушка лежала придавленная платформой, пузырились слезами её мокрые щеки, треугольник родинок под правым глазом. Мать своротила тяжелые мешки, скинула платформу и бросилась целовать дочку.

– Кто это тебя так? Кто? Родненькая моя, хорошая. Кто? – причитала она, не давая возможности дочери ответить.

Глава 3

Аня и ураган

– Рассказать тебе сказку про белого бычка?

– Расскажи.

– Рассказать тебе сказку про белого бычка?

Василиса Петровна, бережно придерживая ветку, обирала смородину. Зеленые пятиконечные листья, чуть сворачивались, когда она щелкала секатором. День хмурился и солнце никло. Линовали небо ласточки, они свили под крышей гнездо, и часто-часто мелькали фалды их фраков. Если бы стояла тишина, можно было бы услышать писк голодных птенцов.

Василиса Петровна любила пернатых и ненавидела хищников. Одноглазая Мурка притаскивала ей птиц, за что регулярно огребала валенком по пушистым бокам. Мурка взвивалась, орала дурным голосом, но понять, за что была бита, не могла. И на следующий день или через день вновь приносила на белую большую пуховую подушку дохлую, в красных язвинах птицу. Если бы не мыши в подполе, которые грызли и картоху, и морковь, и чего они только не грызли, Василиса Петровна никогда бы не завела кошку.

С утра она уже успела закопать маленький комочек желтых перьев, трясогузку, которая на свою беду облюбовала конек их крыши. Старуха часто и подолгу с ними разговаривала, как будто только птицы могли ее понять. Она тяжело вздохнула и перевела взгляд на внучку. Аня сидела сгорбленная и вся белая, как поганка лесная. Чернели глаза да треугольник родинок на правой щеке. Она начала стремительно худеть, и сколько бы Василиса Петровна не откармливала внучку пирогами, проку никакого не было. Сначала она подумала, что дело в той гадюке, на которую Нюся напоролась в лесу. Внучка встала на колени и сказала: «Змейка, не кусай меня, я жить хочу». Василиса Петровна рассмеялась было, чего же не посмеяться, коли смешно, но что-то жалобное, пронзительное было в голосе Нюси, и смех умер.

– Аня, это гадюка, смотри, у нее по спине идет шахматный узор. Она не ядовитая, – пояснила бабушка.

Качались высокие сосны, сметая паутину облаков. В голубизне неба растворялся глаз, а желтая монета солнца, раскаленная, словно в тигле, плавилась и оползала. Василиса Петровна погладила шершавую кору сосны и посмотрела на внучку. Дрожала, выдвигаясь вперед, губенка, распухал от соплей нос. Аня обиженно посмотрела на бабушку и спросила:

– А зачем, бабушка, змеи ядовитые, зачем ягоды ядовитые, зачем, бабушка?

– Обороняться им нужно. Ты вот пришла в гости, а они живут в лесу. Ты для них ровно богатырь Святогор, что по горам Елионским ходит. Мы тут чужие. Ягоду собрали, поблагодарим лешего и откланяемся.

– А водяные тут бывают? – ахнула Нюся.

– Бывают, а то как же, – сказала бабушка, увлекая за собой внучку. Она осторожно ступала, тщательно выбирая кочку. – И русалки всякие, утопленницы, это те девочки, что под ноги не смотрели. Это ведь не поляна с цветами, это болото. Видишь, как засасывает, – бабушка позволила жиже уволочь, спрятать под мшистой зеленью ступню в резине.

Василиса Петровна ловко тогда перевела разговор на нечисть, девочка отвлеклась. Но нет. Не через змею и волчий глаз она худеет телом и болеет душой. Старуха прислушалась. Даже на веранде было слышно, как ругался с невесткой ее сын. Анечка смахнула зеленые лодочки со стола, на котором недрогнувшей рукой была вырезана всякая похабщина. Василиса Петровна готовила запасы витаминного чая на зиму. Она сыпала зверобой, Иван-чай, смородину, мелиссу в разных пропорциях и продавала соседям как гомеопатическое средство. Она было сунулась на местное радио, которое приглашало в эфир лекарей и крутило рекламу алтайской мази для здоровья суставов, но понимания там не встретила. Василиса Петровна подняла цену на символические пять рублей и на том успокоила свою амбицию. Крики в комнате становились все громче. Внучка ерзала на лавке и все чаще вскидывала глаза на окна.

– Что, Анечка, было той ночью? – вкрадчиво спросила старуха, и тут же почувствовала, что промахнулась. Насторожилась внучка: напрягла ручонку, ногу, какую только что болтала, остановила, и только лицо окаменело в безмятежности.

– Какой ночью? – переспросила Анечка, старательно насаживая на веточку листик, будто парус.

Василиса Петровна вхолостую щелкнула секачом, потемнела лицом и, еле сдерживая гнев, попыталась изгнать металл из голоса.

– Когда Курков огород нам вспахал.

Анечка пожалала плечами и попыталась убрать с лица волосы, залепившие глаза. Бабушка протянула руку, смахнула светлые нити и взялась за упрямый подбородок.

– Может, все-таки что-то было?

– Не было, не было, бабушка. Ты что думаешь, я вру? – выпрямилась как под электрическим током девочка и уставила на старуху влажно-голубые глаза.

Бабушка не ответила. Она поднялась, задев висящие на веранде веники с первой июньской березой, и прошла по дощатому полу. Она взяла белый матерчатый холст, покопалась в жестяном коробе, выудила катушку ниток с протыкающей тело иглой и вытянула Кошееву смерть. Василиса Петровна прищурила левый глаз, отвела руку и на расстоянии попыталась вставить нитку в маленькое ушко.

– Бабушка, смотри, Милаша вернулась!

Над коровой, которая вбежала во двор, черным облаком висели оводы. Большие, толстые мухи с крупными крыльями окружили свою жертву. Одна кусала ляжку, другая садилась на лопатку, третья на круп. Дрожала кожа, лупил по бокам хвост, дергалась из стороны в сторону белая морда. Оводы отлетали, черная туча взвивалась над животным и опадала. И снова один укус за другим, корова протяжно мычала и, мотая огромным розовым выменем, шарахалась по двору. Нюся с бабушкой отворили ворота, завели скотину внутрь и погасили свет. Оводы затихарились и с жужжанием перелетали со стены на стену. Корова молчала.

– Продала я тебя. Ну прости, старую, – сказала Василиса Петровна, наливая в черный алюминиевый бак со сверкающим белым швом воду.

Темная створка отъехала, и на свету прорезалась фигура соседки. Ирка, вонзая зубы в ногти, шагнула к ларю.

– Лупцует ее Хмельчиха! – сказал она и широко раскрыла рот, будто бы для того, чтобы рассмеяться, но не издала ни звука.

Безумие этой странной женщины, которую за массой спутанных волос едва ли можно было принять за человеческое существо, было всем хорошо известно. Она раздражалась бранью и боялась только мата, которым ее, не скупясь, крыли. Если не отвечали на ее крики, она наглела и вновь принималась за оскорбления. В деревне, среди приезжих – москвичей и питерцев – о ней ходили самые разные слухи. Чаще всего говорили, что она жертва насилия, но, как правило, все сожаления и вздохи заканчивались тем, что Ирка принималась костерить особо сердобольных. И даже самые седовласые и фильдеперсовы не могли удержаться, чтобы не ответить чем-нибудь позабористой. Кроме громоподобного мата, Ирка боялась только Бога. И в этой ее боязни было много любви и стыда. Вдруг посреди обычного разговора, она внезапно начинала стелиться по земле. Она кружилась, извивалась, ползала и смотрела в небо. Бог, которого она боялась, сходил на землю молнией.

Ураганов боялись все деревенские, но Ирка трусила пуще других. В дешевой зеленой тетради, купленной в сельском магазине, где под потолок взмывала деревянная, раскрашенная в румянец девушка с караваем, она купила еще и шариковую ручку. Галя, местная продавщица, сверкая изо рта золотом, нудила ее признаться, зачем ей писчие принадлежности. Из дачников и местных образовалась целая очередь, но Галя продолжала, грозно зыряка и весело ругая, пытаться Ирку. Сумасшедшая, выскочив из магазина как из бани, сохранила тайну.

В муравчатой тетради Ирка вела исчисление гроз и ураганов. Первыми об этом прознали питерские, у которых ястреб таскал куриц. Хищная птица вздымалась над полями и парила в голубом лоскутке неба. Она кружила на воздушной подушке и медленно поворачивала свою морду с изогнутым клювом и желтыми стереоскопическими глазами-линзами. Завидев добычу, хищник резко бросался вниз, выставляя вперед бахромчатые ноги с расставленными когтями. И горе тем дачникам, которые забывали поставить над пеструшками сетку. Ястреб увлакивал свою вхохлущую жертву в поднебесье.

Когда опустел соседский курятник, Ирка тут же заявила на усыпанный перьями и пухом двор и многозначительно подняла палец вверх. «Это вам наказание по грехам вашим! По вашу душу давеча была гроза», – победоносно сказала Ирка. «Какие еще такие грехи?» – возмутился приезжие. «Матушку свою обокрали». Гадкий слух по деревне пошел быстро, а потом и вовсе оказалось, что и впрямь, когда два брата делили наследство, мать-старуха оказалась под лестницей.

– Ураган будет сегодня, – задумчиво сказала Ирка, наклоняя голову и прислушиваясь к нарастающим крикам. – Чего это ваши глотки дерут?

– Сейчас я тебе метлой поперек хребтины огрею, вот и посмотрим, кто тут горло дерет!

Старуха схватила метлу и накинулась на соседку. Ирка с визгом, переходящим в смех, отскочила и с криками: «Убивают! Убивают!» – бросилась вон. Нюся опустилась на корточки, ей вдруг отказали ослабевшие ноги. Бабушка притянула внучку, обняла и дунула в ухо:

– Не слушай ты ее, ради Бога. Мелет чего не попадя. Зайди в дом, попроси маму самовар поставить.

– А дом не загорится? – спросила Анечка, вскидывая голову.

– Ну что ты, Нюся, самовар тот – электрический.

Василиса Петровна поставила метлу в угол, дернула тугую дверь, которая вела в людскую, поморщилась от запаха и медленно, держась за поручень, поднялась. Дверь с внешней стороны была обита кроличьими шкурами, некоторые порвались, отстали от дерева, в разные стороны торчал войлок. Шум становился все громче. В темноте вместо ручки Василиса Петровна попала на прореху и завозилась. Когда она вошла в комнату, голоса стихли. Слышалось только сиплое, с присвистом дыхание самовара.

Ужин невестка не приготовила. Василиса Петровна думала хоть на старости лет отдохнуть. Нет, все та же посуда, все та же готовка, та же стирка. И хвалишь иной раз такое, что несварение желудка, а все равно не понимает, ну тупа как пробка. Бездельница, лентяйка, и где только сын ее нашел? Василиса Петровна искала на столе нож, отодвинула ящик. Острога, тонко заточенного ножа, который она приберегала для резки мяса, на месте не оказалось. Не дай Бог еще Нюсяка найдет. Схватила прошлый раз, кровящи было на целый таз. Невестка хотела зашивать, но, Бог милостив, справились.

Старуха выглянула в маленькое кухонное оконце, и увидела, что тучи угрожающе пухнут и на глазах превращаются в расплзшиеся черничные пироги, варенье из которых вот-вот хлынет.

– Что, бабушка, будет дождь? – закрутилась под ногами Нюся. Три родинки то появлялись, то исчезали.

– Не задавай глупых вопросов. Возьми лучше стул и выжми белую кнопку на счетчике, справишься? А я белье сниму.

Она проследила, чтобы Нюся не повредила, и шагнула за порог. Ветер чуть не свалил ее с ног, и старуха схватилась за калитку вместо того, что держать юбку. Подол задрало выше колен, и она уже не помнила, когда кто-то вот так бесцеремонно выставлял ее исподнее на всеобщее обозрение. Из клеток смотрели вертикальные, длинные, бессмысленные зрачки кроликов. Они быстро-быстро, вздувая и опадая щеками, грызли молодую морковь. Удар грома заставил их отпрянуть в глубину клеток. Василиса Петровна подняла голову, небо стало черным. Оно нависло над ее головой и придавило, как могильная плита.

– Что делается-то, – пробормотала она и принялась срывать кофту за кофтой.

На веревке висели детские вещи. Нюся пачкалась, как будто не была девочкой. В прошлый раз, когда гремела гроза, когда ураган вырывал с корнями деревья и

выжигал свои клейма на соснах, отчего они начинали дымиться, унесло Нюсину кофту, любимую, розовую, и потом они долго бродили по округе, пытаясь понять, куда ветер мог закинуть тряпку.

Старуха дергала рубашки и штаны за рукава, и веревка звенела, описывая круг, и мелко дрожала, возвращаясь к статике. Ударил молния, она дробилась по всему небу и била где-то уже совсем рядом.

Василиса Петровна уже давно не боялась смерти. С тех пор, как она впервые испугалась боли, она была совсем девчонкой, которая жала серпом траву и бежала по полосе впереди всех. Перехватила зеленый остов травы, резанула: быстро и резко – и попала чуть выше. Василиса Петровна посмотрела на свою руку, белый след полумесяцем висел на ее коричневой ладони. Загар не смывался, за столько лет труда и беспощадного солнца, она уже никогда его не отмоет. Посыпался дождь, на руке он подпрыгнул, как на барабане, и враз намочил траву. Трава стала холодной, жесткой и колола щиколотки. В бок ударил порыв ветра, и старуха вцепилась в веревку. Она погрозила пальцем молнии.

– Играй, играй!

В доме раздался женский крик. Василиса Петровна с перекошенным ртом повернулась. Она бросила белые портки Нюски и кинулась в дом. Она взлетела по лестнице, дернула дверь, и увидела, что внучка, стоя на круглом, как шляпка гриба, табурете, отжимает белую кнопку. Василиса Петровна успела заметить, как белая, мерцающая точка с какой-то неумолимой скоростью бежит по проводу от телеграфного столба, чтобы врезаться дом и навсегда поглотить его в пламени огня.

Глава 4

Аня и встречный поезд

– *Чай не пил какая сила, чай попил совсем ослаб.*

– *Дед!*

– *Аня!*

Банально начинать рассказ со дня своего рождения. Лучше пойти задом наперед. Я же рак, я родилась в июле, и мне положено ходить задом. Пардон. Я иногда выражаюсь как сапожник. Право, в этом нет моей вины. Так говорила мать еще до того, как отец нас покинул. Она стояла на коленях перед раковиной, как будто молилась, и кричала: «Сукин сын! Твою мать! Чтоб тебя перевернуло и подбросило!» Когда она замечала, что меня колотит, как автомобиль на дизеле, она говорила, что она это так, и вообще ни к кому конкретному не обращается. Через несколько секунд и через несколько попыток пробить засор ребристым длинным шнуром она повторяла: «Сука! Сука! Сука!»

Я, конечно, пыталась поверить, что это так и что она ни к кому конкретному не обращается, но выходило у меня скверно. Я старалась не пользоваться раковиной, вылизывала все тарелки, которые потом подчищала туалетной бумагой, но сантехника все равно вылетала из строя. В нашей квартире в тартарары летело все: проводка, канализация, радиаторы, потолки, стены. Все нуждалось в ремонте. Но я, кажется, забегая назад. Решила же запустить обратный отсчет, значит, нужно придерживаться плана. Вот они, мои прекрасные даты: 12 июля 2001 – 18 июля 2017. Так выбито на табличке. Моя кончина, так забавно это произносить, случилась под колесами машины. Я не успела разглядеть марку, но, кажется, это была синяя ауди. За рулем сидел

плотный, высокий мужик. Как и полагается, лицо его было белым. Он пытался что-то вынуть из кармана рубашки. Наверное, это был валидол или что-то такое. Он совал его под язык, а рука его съезжала за шиворот. Я бы рассмеялась, если бы могла, но я, как вы понимаете, была уже не в состоянии. Умирание – это ответственный процесс. Синатра, говорят, попросил инквизитора, когда тот читал свои славословия, не фальшивить. Другие бормотали иные откровения, ну нельзя же вот так взять и умереть, не сказав какой-то пафосной фразы. Я, например, хотела сказать: «Папашу вашего переехало». Но я отключилась раньше, чем успела огорошить своих спасателей. Корпус машины меня боднул, как молодой бычок. Я описала красивую дугу, а потом шлепнулась, как, должно быть, шлепается метеорит с неба. Обреченно, безысходно, обыденно.

Некоторые думают, что перед смертью небесные механики делают нарезку счастливых моментов. Доложусь. Такого точно не будет. Даю зуб, только вам самим придется за ним идти. Лежу я на кладбище в Саларьево. Это конец красной ветки, станция белая в красных кубиках, стильная, модерн. Выход из метро к торговому центру, потом нужно перейти на другую сторону, дожидаться автобуса. Хотите уточнить номер, лучше спросите у Гугла. Я, понимаете, давно не каталась на общественном транспорте. Ехать минут пятнадцать. Кладбище большое, занимает как минимум две остановки. Вы представляете, сколько у меня соседей? Тут очень тесно, и если бы росли яблони, яблокам некуда было бы падать.

Меня положили в гроб, сложили руки на груди, закопали. Сверху покладали венков, понаписали на лентах всякого, водрузили сверху крест. Крест я бы предпочла деревянный, желтый такой, лаком покрытый, но они решили, что железо прочнее. Прицепили фотографию. Я бы такую никогда не выбрала. Снимок они выбрали школьный, из седьмого класса. За секунду до щелчка я сдула со лба челку. Треугольник родинок на правой щеке красит, но вид у меня все равно идиотический. Я умерла, поэтому не ругайте за политкорректность. Если вы скажете, что я покойница, я ни капли не обижусь. А вот если вы скажете, что я человек с ограниченными возможностями, я расмеюсь вам в лицо.

Они недолго надо мной стояли. Мать выла около часа, отец откланялся через пятнадцать минут. Я рано поняла, что одни люди рождаются актерами, а другие декорацией. Маленькой я еще надеялась, что меня возьмут хоть статистом, но жизнь быстро убедила меня в обратном. Я была декорацией, которую можно, как и любую ширму, убрать, сломать и даже сжечь.

Когда мой отец впервые меня ударил, он сказал мне: «Привыкай, мужики все такие». Он ударил меня трусливо, когда матери не было дома. Он тогда был на больничном, а мама впахивала, как тяжеловоз. Отец просидел дома целую зиму и выдал мне 37 тумачков. Я не сильна в арифметике, но тут уж я точно не ошиблась. От затрещин у меня звенело в ушах, и я плакала. Вас никогда не били? Это очень унижительно. Особенно когда бьют в первый раз. Ты такой удивляешься. За что? Это нормально? Почему так больно? И плачешь от всего сразу: от неожиданности, от боли и обиды. Но я, скажу сразу, плакала от обиды больше. У меня болевой порог не так чтобы очень низкий. На мне все как на собаке зарастает. Я наступала на гвозди, битое стекло, булавки, вытаскивала из себя лишние детали и, оставляя за собой кровавый след, шагала дальше. Мать, конечно, быстро догадалась, что к чему, но стеклянный графин разбила только весной, когда поняла, что этот урод даже не собирается выходить на работу.

Он исчез на три дня, а потом вернулся за своими вещами. Он выглядел несколько виноватым. Когда дверь за ним захлопнулась, мать сказала, что он нашел бабу. Это известие по непонятной причине ее деморализовало. Перегоревшая лампочка

в нашей ванной выставлялась три недели. Паук свил себе гнездо в углу над унитазом. Из трубы на кухне воняло вареным котом. Вам интересно, зачем варить кота? Ответ будет очень простым, так делают студенты-ветеринары, которым нужен скелет: косточки сами себя не посчитают.

Конечно, кота варить лучше в дохлом виде. Живой он будет вырываться и очень царапаться. Не пугайтесь, пожалуйста. Это у меня такой юмор. Я собиралась идти в мед. Очень люблю внутренности, они красивые и пульсируют. Вы только вслушайтесь в музыку названий. Блуждающий нерв, двенадцатиперстная, правая подвздошная, брыжейка. А по-латыни? На мертвом языке еще звонче.

Как я уже говорила, мама выпала в осадок, не ходила на работу, отговариваясь тем, что у нее тяжелые месячные. Начальник у нее был мужик мировой, и когда слышал такое объяснение, сразу пасовал. Я готовила себе баланду. Заваривала в кипятке старые корки, щедрой рукой сыпала бульон «Магги» и жарила на сковороде печенье – из муки, какао, соды, яиц и сахара. Оно было гадким, и вскоре у меня началась изжога. Мать, кажется, вообще ничего не ела. Так продолжалось около месяца, пока матери не позвонила подруга и не сказала, что с лица новая пассия отца такова, что воду, может быть, пить можно, но санэпидемнадзор не рекомендует. На следующей день мама прочистила засор, пристукнула паука и поменяла в ванной лампочку. А еще через пару недель у нее закончились «тяжелые месячные», и она вышла на работу.

Наша жизнь должна была стать проще. Мать целыми днями работала, а я торчала в квартире и читала все подряд. «Никому не открывай!» – распорядилась она. Я росла, мама старела, и нам стало не хватать денег. Презренный металл! Книжки, которые я читала, убеждали меня в том, что они ничего не стоят, если у человека есть характер и принципы. Характер – замкнутый – у меня был, принципы тоже имелись. Скажем, я никогда не показывала всему двору сиськи за деньги, как это делала моя соседка Мила. Я не шмонала карманы в школе, как это делала моя одноклассница Ритка. Она обещала проломить мне нос, если я проболтаюсь, что застала ее за «инспекцией». А еще я не лазала в мусорные контейнеры рядом с торговым центром. Говорят, что еду выбрасывали вполне в приличном состоянии. У них закончился срок годности, но употреблять их без опасения провести следующий день на толчке еще было можно. Осенью, когда нам нечего было жрать, я брала лестницу для малярных работ и обдирала яблоню, которая росла на границе леса и дороги. Яблоки были крупные, кисло-сладкие, только зубами кожицу надорвешь, так тут же и брызжет. Мы запекали эти яблоки в духовке. Плита была старая и ржавая, и газовщик при каждой проверке грозил поставить заглушку, но мать его жаловила, и он брал грех на душу. Мы скальпировали яблоки, засыпали внутрь сахар и ставили на огонь. Они становились податливыми, коричневыми и приятно пахли. Кто-то скажет, яблоня у дороги впитала все выхлопы, а я скажу, когда живот от голода подводит, выбирать не приходится.

На мать я смотрела снисходительно. С возрастом она стала болезненной, капризной и превратилась в тень. Когда я приходила домой, она лежала в кровати, как покойник в холщовом мешке, которого вот-вот выкинут за борт.

Я уходила к себе, запиралась, теребила рукой между ног и смотрела на прекрасное сплетение мышц, нервов, вен и костей на анатомическом рисунке. Под свой шепот: «Clitorido», «Glans penis» – я засыпала.

Примерно в это время и позвонил отец. Он попросил о встрече и предложил отступничество. Когда он видел меня в последний раз, маме говорили: «Рожайте еще девочек», теперь у меня были черные точки на носу, волосы кое-как стрижены, ногти обгрызены под корень. Он обнял меня, но я чувствовала, что брезгует. Мы пошли в

Макдональдс. Он сидел напротив – подтянутый, в брендовой одежде, волосы по-модному выбриты. Мне хотелось рассмотреть его, но я только глаза прятала. Я расплзлась по стулу и чувствовала, что выпирает живот, что грудь поплыла по столу. Я заказала четыре гамбургера, две большие картошки и вишневый пирожок. Он ограничился колой лайт и начал втирать мне что-то про семейное древо. Но мне это было не интересно, и я толком ничего из этих историй не запомнила. Когда он спросил про мать, я врать не стала и сказала, что она больна, что ей нужны лекарства, что эти лекарства дороги и прочее. Я говорила зло и, кажется, потребовала с него денег. Он сказал, что денег дать не может, что у него большой кредит за машину и дачу. Я хмыкнула. Тогда он рассказал мне еще одну байку.

Прадед мой сильно болел. Шла война, лекарств не было. Он страшно мучился и обременял семью страданиями и потребностью в пище и уходе. Решили, что ему нужно поехать в город ко врачу. Недалеко была станция, и по хорошей погоде до дома долетали гудки паровоза. Поплелся отец семейства на поезд, домашние успокоились. На следующее утро их разбудили крики под окном. Вбежал на крыльцо сосед, шапку сорвал и кричит: «Папашу вашего переехало». Отец отодвинул пластиковый стакан и сказал, что ему пора. В торговом центре большие, аквариумные стекла, да и угол обзора отличный. Отец легко впрыгнул в машину, бибикнул красивой девушке в красном платье и отъехал. На заднем сидении я разглядела детское кресло.

Глава 5

Аня и скрипт

– Слышу, идут позади двое. Обернулся: два шкафа с верхними ящиками.

– Избили, дед?

– Я их, Аня, лбами столкнул, искры так и летели.

Лиза уселась за стол и воткнулась глазами в картину. Офис был голым: мебель, провода с блоками и экранами – и вот эта вот пальма. Вешать картину по меньшей мере было глупо. Она напоминала о недостижимом. Люди, запутавшиеся в проводах, как в паутине, никогда бы не оказались на Мальдивах, это было очевидно. Тетки, что прижимали ее с боков и зазывали пенсионеров на комплексное обследование, пребывали в запущенном состоянии. От одной несло немытым телом, и она своими волнами жира напоминала чудовище из сказки про Русалочку. Вторая напоминала Русалочку после сорока лет блуждания по земным пажитям и не досчитывалась зубов. Лиза еще раз посмотрела на картину. Произведение было телом совершенно инородным, и хотелось его перевернуть. На экране запрыгала, как червячок на удочке, зеленая трубка.

– На инструктаж, – коротко бросили из наушников.

Лиза резко встала, пытаясь не смотреть на пальму, которая не жились под пышным, словно политым медом, оладушком солнца. Наташа собрала вокруг стажеров и сердито, как казалось, на всех посматривала. В ней чувствовалась туго натянутая пружина, которая заставляла все части ее тела быть на местах и смотреться ловкой и подвижной. Ноги сверкали черными лосинами, на губах лоснилась помада, позвякивали в ушах кольца серег, и тело утопало в объемном черном, крупной вязки свитере. Она откинулась на спинку и сцепила остроконечные пальцы.

Зал напоминал самолетный ангар, заполненный столами и криками. В целом же для человека здравомыслящего – вся эта контора, которая именовалась филиалом

медицинского центра, обвитая проводами без единого медицинского оборудования – была бы местом невообразимым. Но Наташа, все ее существо, не позволяло ни на секунду усомниться в допустимости этой реальности. Мысли Лизы, их легитимность обеспечивала только картинка с пальмой, где на желтом пушистом песке лежали кокосы или еще какие-то экзотические фрукты, название которых она не запомнила с последней передачи Кожухова.

– Очень часто нам звонят психбольные, натурально нездоровые. Запихнут себе в промежность или анус огурец, говорят, застрял там, и спрашивают, что делать. С такими мы не работаем. Им скорую вызывать нужно. Или вот случай, звонил мужик, хозяйство себе отрезал и спрашивает: мне зеленкой или йодом прижечь.

– Бензином, – засмеялся парень с длинными растрепанными волосами. Его зеленые глаза засасывали не хуже болота, а конституция позволила бы ему сыграть в детском спектакле гражданина Бессмертного.

– Вот ты, Иван, веселишься, а он же от кровопотери умереть может. Ваша задача распознавать психов, а не лечить. Вы у меня подкованные, все студенты медицинских, ветеринарных учреждений, вы найдете, чем уболтать, только не увлекайтесь, ваша задача отправить их по пищевой цепи нашей организации. Вы их приглашаете на бесплатное сканирование, а там уж их в оборот возьмут. Если они там пройдутся по всем специалистам, ваш процент вырастет. Не на стипендию же жить, – Наташа подмигнула, и соседка Лизы, девчонка с круглым лицом и треугольником родинок под правым глазом подытожила: «А то».

Ребята разошлись по местам и начали расстреливать телефонную базу. Многие жители не самой культурной столицы в мире сразу посылали, но некоторые интересовались, глотали наживку, а дальше с этим крючком отправлялись в странствие по пищеварительному тракту общества с ограниченной ответственностью. Чаще всего хватались за ниточку пенсионеры, то ли им, правда, телевизора не хватало, то ли перспектива сканирования была очень уж захватывающая.

Лиза работала по скрипту, отвечала на каверзные вопросы. Пенсионеры все норовили выяснить, каково соотношение порядочного давления, нормально, что у них уши закладывает или память худшеет, а то и вовсе слова из речи вываливаются. Ане, ее соседке, часто перезванивали. Зажав ладонью микрофон, она шепнула: «После защищенного секса – инфекция, да или нет?» Лиза зарылась в ссылки и рекомендовала спросить: «Анальный секс с вагинальным?»

Аня повторила формулировку и нажала отбой. Лиза сначала не поняла, в чем дело, а потом услышала в зале смех. Соседка подорвалась с места, показала Ивану третий палец и опустила обратно, отчего вверх взвилась юбка.

Через два часа подвешивания языка девочки устали и устроили перерыв. Народ повалил на перекур, зашуршал пакетами. Лиза обвязала горячий лоб холодными пальцами и закрыла глаза. Перед глазами у нее скакала центрифуга, которая отсеивала примести, и вообще была занята тем, что сепарировала вещества большей плотности от меньшей. Девушка подумала, может, и жизнь так устроена: выясняет, какой человек плотности, чтобы поставить его на место. Она еще раз посмотрела на картинку с пальмой. В том секторе, где она оказалась, Мальдивы могли быть только такими: картонными и засиженными мухами.

– Спишь? – в спину ее толкнула соседка.

Аня училась на ветеринара, ходила на сестринские курсы и впахивала на работе, но хуже всего было то, что она вообще не обращала внимания на картинку с пальмой. Когда Лиза пыталась привлечь ее внимание к этой проблеме, девушка отвечала, что не стоит заморачиваться по пустякам.

– Тебе совестно иногда не бывает? – спросила Лиза, когда им выплатили первую зарплату. Аня шумно листала каталог Орифлейма, то и дело терла пальцем глянец страницы, а потом жадно втягивала запах. Девушки прогуливались по залу, разминали ноги и допивали сладкий, жидкий кофейный напиток из автомата, который только лишь по недоразумению назывался «Капучино». Под ногами пластался прорезиненный ковер, и шаги съедались. В пропасть микрофонов операторы медицинского центра вбрасывали информационный сор. Кто-то тихо, кто-то громко, кто-то настойчиво, кто-то деликатно, но впаривали, по мере своих возможностей, все.

– Чего вдруг? – спросила Аня, подтягивая на ходу колготки. Кофейный стаканчик она ловко держала в зубах, и Лизе почему-то казалось, что если она вот так закусит пластик, жидкость быстро окажется у нее на кофе. Аня оголила круглые ляжки, ничуть не задумываясь о том, что на нее смотрят.

– Ну вот пенсионерка припрется на бесплатное сканирование, ей скажут, что там в легких затемнение или, наоборот, подозрительно светло по женской части, предложат специалистов, она со страху и согласится.

– Ну согласится, и хорошо, тебе же деньга будет, – Аня бросила стаканчик в урну, но промахнулась.

– Ну это да, конечно. Но ведь это обман.

Аня засмеялась, ее родинки всплыли на пухлой щечке, как буйки. Лиза растерянно глядела на неё, она никак не могла понять, над чем соседка смеется. Они стояли посреди самолетного ангара, где пилоты разнокалиберной техники не могли связаться со своими диспетчерами и ором взрывали эфир. Даже если они взлетали, это означало крушение и тысячу трупов в пластиковых мешках. Искать черный ящик было бессмысленно, и так было все ясно.

– Это не обман, это сказка, – сказала Аня. – Понимаешь, как в лесу. Занает ветер, это леший чихнул. Чавкнет болото, это утопленница высунула за крупной ягодой руку. Ветка дрогнет, сломается, дурная примета, это Баба Яга на ступе пролетела. Все так и здесь. Приглядишься: лешие, водяные, утопленницы. Выбирай кого хочешь!

– Да ну тебя, я серьезно, а ты!

Они шли молча и сосредоточенно изучали своих товарок и товаров. Аня заметила Ивана первой, приладила волосы и провела язычком по губам. Лиза и охнуть не успела, как Иван посадил девушку к себе на колени. Аня подобрала ножки, свесила хвост на левую сторону, чтобы щекотать парню шею, и затенила ресницами щеки.

– Ты какую позицию предпочитаешь? – спросил Ваня, выстреливая ей ручкой в запястье.

Девушка сделала вид, что вырывается, но на самом деле разглядывала его нос, худое лицо, прозрачные, чуть в прозелень глаза и острый кадык. Она откровенно им любовалась, но ответила грубо:

– Ширинка у тебя коротковата.

Всплыли окошки чата, и Иван столкнул девушку в проход. Аня с достоинством поправила одежду, и девушки вернулись на рабочее место.

– Симпатичный, – уважительно сказала Лиза, ей почему-то захотелось сделать коллеге приятное.

– Разве? – спросила девушка, отодвигая стул с мягким ходом. От соседнего ее стол был отделен отсеками неопознанной надобности. Локтями девушки не стукались, а вот голос заглушить ничем было невозможно.

Они заканчивали поздно, за окнами давно было темно и давно была зима. Они все чаще болтали, пили чай и бегали в туалет. За простой им не платили, только проценты, но Лизу почему-то это нисколько не подстегивало. Глядя, как

расстраивается из-за незакрытых заявок Аня, она помогала ей выудить рыбку. Вполне возможно, лениво думала Лиза, что она сидит даром в этот вечер. Погасли одна за другой продольные лампы, и охранник выгнал их на улицу. Слева материализовался Иван. Он предложил им выпить, и девушка с тремя родинками не отказалась. «Только вот, – сказала Аня. – У Лизы живот болит, и она не сможет к нам присоединиться». Когда Лиза сделала три шага вперед, она услышала позади себя смех. И ее, словно взрывной волной, отбросило к метро, где под землю ее засосало вместе с холодным воздухом.

Утром Аня сообщила, что вагинальный секс у них с Иваном был три раза. Лиза долго думала, что ей ответить, а потом написала: «Круто!». Спустя три секунды Аня прислала ей фотки квартиры и сказала, что она теперь ни за что не вернется в общагу.

На работу Аня пришла смурная и, когда Лиза сунулась к ней, то подруга сначала нарычала. Лиза угостила ее «Воздушным» и даже сходила за фрэппучино. Аня, заметив, что Иван, проводя ручищей по волосам и отпуская шуточки, появился, разговорилась. Оказалось, что утром вернулась его родительница. Мать Ивана на нее набросилась, назвала прошмандовкой.

– Я ей, втычине, говорю, что у нее шторы с обоями диссонируют.

– А она чего? – Лиза вцепилась соседке в белую мякоть руки и легко так, без нажима поглаживала.

– А она замахнулась на меня веником и осыпала бранью. Потом помянула все, тут я и выскочила. Когда Бога призывают – дело дрянь.

– И все?

– Нет, не все. Разве меня выгонишь? Поднялась я по лестнице, решила, подожду. Увижу, думаю, поговорю, а там видно будет. Нельзя же так просто сдаваться. Он, конечно, не влюблен, ну да этого и не надо. Мы же медики. Сидеть пришлось долго. Мимо меня пару раз переступили. Одна ретивая баба даже пыталась выгнать. Жилец из 105 квартиры угостил сигаретами. Ждала часов пять, телефона у меня его нет, взять не догадалась. Слышу в половине шестого, дверь открывается, именно та дверь. Раздалось сначала шуршание, точно мышь под обоями. Я только потом слова различила. Иван говорил. Знаешь, что сказал? «Ты, сеструха, чика мировая, так отбарабанила скрипт!»

Аня громко, вызывающе расхохоталась. Лиза перевела взгляд на пальму, никогда она ей еще не казалась такой искусственной. В одной этой девушке было больше Мальдив, чем на всей этой картине.

Глава 6

Аня и физиология

– Аня, тебе хлеб в две руки или в одну?
(девочка задумывается)

– В две!

(дед отрезает тонкий ломоть хлеба, который ломается,
как только девочка берет ее в руку)

Зимой окна синие, если ночь, сверкнет где и звезда. Если утро раннее, темное, советующее словно залечь в спячку, то синева съедает все. Синь. Синька. Антисептик и краситель. Павел Фомич вздохнул. Он заложил руки за борта халата, прошелся по кабинету. Десять на двадцать. Черное кожаное кресло, дубовый стол, книжные шкафы

и стенды с фотографиями. Где он только не был! И в Аргентину ездил. Помогал поднимать хозяйство в Южной Америке. Было время. Под вычищенными ботинками поскрипывал паркет, Павел Фомич привычным жестом пригладил на затылке седые волосы. «Послужной список у меня ого-го-го какой», – подумал он, и даже усы у него под носом победно зашевелились. В этом кабинете он написал четыре книги о содержании разных видов животных. Студенты и студентки даже автографы у него просили. Завкафедрой уже пять лет, столько связей, сколько дружественных ферм и клиник. И все это перечеркнет одна сопливая девчонка. Павел Фомич нахохлился и опять подошел к окну. Непроглядная. Непроглядная тьма. И что обидно ведь – ни за что пропадать. Никогда за рамки не выходил – там тронет за локоток, футболочку отдернет, а иногда, но это раньше, до всей этой суматохи, бывало, и по попке хлопнуть мог. Чисто для воспитания. Железный я, что ли. Нацепят узкие майки, юбки по самое некуда, а потом предъявляют! Нахалки. Всегда круглых любил, ножки крепенькие, грудь крупным шрифтом, волоокие и волосы, волосы обязательно чтобы густые.

За физиологию – как она там написала: масляные глаза – я что, разве ответчик? И теперь жаль только одного, жаль, что Юленьку тогда отпустил.

Павел Фомич подошел к столу, нагнулся и отсоединил от удлинителя провода. Красивая была девка, суцая цыганка, колдовские глаза. Не выдержал, тяпнул коньячку на 50 граммов больше и подошел, зарделась. «Смутил», – обрадовался тогда Павел Фомич. Он тогда спросил какую-то безделицу, он всегда с ними шутил, чтобы не подумали чего.

– Ну что твой папик?

Девушка, конечно, оскорбилась, сказала, что никакого такого папика у нее нет. Он перевел взгляд на ее грудь и долго поправлял ей шарфик. Она лоботрясничала, а он пятерки рисовал за красивые глаза. Юленька хохотала весь урок с подружкой, а он той, что смеялась вместе с ней, бездельнице, баллы не жалел. Однажды не сдержался, указал на доску, где корова во всех анатомических подробностях, и спрашивает, тыча в мышцу или нерв. Уже и сам не помнит. Десять лет прошло, каким он тогда еще был молодым. Что такое для мужчины пятьдесят лет? Вся жизнь впереди.

– Что это? – говорит.

Она, озорница, сияя своими умными глазенками, отвечает:

– Подниматель хвоста.

Весь класс в смехе полег, едва успокоил. Журил всегда ее, бестолковую, за тетрадки. Принесет, бывало, всю обтрепанную, а он притворно сердится.

– Ты чего с ней делала, мух на корове била?

Она опять смеется, кудри по плечам прыгают, щеки покраснеют, хороша, ох, хороша девка.

Павел Фомич натянул в руках провод, сложил в несколько раз и подергал. Он поднял голову и уставился на люстру. Желтое, нестерпимо яркое пятно и непроглядная тьма. Что жена подумает? А сын?

Павел Фомич хотел поддаться жалости, хоть не к себе, так к близким. Но остановился. Сын взрослый. Жена – старая высохшая карга. Сколько лет с ней под одним одеялом. Надоела до скрежета зубовного. Стряпает неплохо. Мясо отменно тушит, пироги печет и одежду его держит в чистоте. Он же заведующий, все время на людях, ему дурно выглядеть нельзя. Павел Фомич подтащил стул и забросил провод на крюк, подергал.

«Подниматель хвоста», – улыбнулся он в усы.

Она тогда сказала, что перчатки потеряла, вернулась. У самой губы дрожат, глазенки бегают. Влюбилась, что ли. Он помнил, как эта мысль пробежала у него в голове и заискрилась, как запело его сердце. Влюбилась и сама пришла.

В его собственные руки, делай что хошь. В голове помутилось. Со студентками прежде дел не имел, только на выездах где пошалывал, но вдалеке от своей кафедры. Торопливо и неопратно. С Юленькой так было нельзя. Он взял ее под руку и чинно вывел на улицу. Он что-то тогда ей рассказывал. Вспомнить бы. Павел Фомич сел на стул и вцепился в дупло с розетками.

По привычке шутил. Как удойных коров, шлезвигов или голштинцев, гнали из Германии, а они через год давали вполовину меньше молока, а уж через два года совершенно с местными сличались. Земля, говорил, непитательная. Корова – она тоже существо с понятием, ей в тепло, на пышную ниву нужно. Юля молчала, ежилась. Павел Фомич, не таясь от коллег, ничего не боясь – вот дурень-то – схватил такси, назвал гостиницу, и поехали. Таксист завел песню о бензине, ценах и пенсиях, жаловался, да как-то неказисто, смешно у него выходило. Юленька оживилась и снова смеяться стала.

Павел Фомич нагнулся и аккуратно расшнуровал ботинки. Приехали, регистрация, то-се, комнату взял приличную, а все равно что липкая скатерть, вроде чистая на глаз, а трогать не хочется. Юля сбросила пальтишко и спросила:

– Что, Павел Фомич, для храбрости не хотите?

И полезла раздеваться.

Павел Фомич вздохнул. Подскочил к ней, кофту запахнул и давай кричать:

– Такая-сякая, чего удумала, дура. Я пошутить с тобой хотел, одевайся, безмозгляя!

Брови свел, грозу на лицо навел. Она перепугалась сначала, потом перегнулась и давай снова хохотать. Вышли из гостиницы вместе, а дальше пошли врозь. До конца семестра еле лекции дочитал, как посмотрит на нее, так сердце и дрогнет.

Потом видел ее еще на аллее, в корпусах, но близко не подходил. Пришел на вручение диплома, только на нее смотрел. Ей какую-то грамоту вручали потешную: самая злостная нарушительница распорядка в общежитии номер три. Все охотно смеялись, знали, от кого чего ждать. Выпустилась, от сердца отлегло. Тяжело, но и легко было. Как будто в болезни, но уже не обращаешь на нее, злодейку, внимания. И пошли годы мелькать. Не отставил своего Фомич, продолжал девок что пофигуристей да поглазастей фаворитить, говорил двусмысленности, заправлял за уши кудри. Бес в ребре никак не мог уговориться. Подошел к нему старший преподаватель – Митрохин, человек знающий, положительный, женатый, но с ужимками, и заговорил: «Бросайте старое, времена нынче не те». Фомич вскинулся. Чего ты себе позволяешь, я тебе что, Петрович с биохимии? Он под партой непотребствует, вот ему и говори.

Петрович – Павел Фомич хорошо знал его когда-то, был ему однокурсником, приехал из далеких Сочей, заселился в общежитии, так и не женился, ждал, что квартиру дадут, а тут Союз лопнул и пошла байда. Кто перековался, время оседлал, тот человеком остался. А Петрович так и не смог вырваться из общежития, круговерти пропускных пунктов, соседей, которые могли заявиться с петухами и оставить их в ванной. Гости из далеких республик все еще наезжали, распутничали под боком. А Петрович сначала держался, думал, еще успеется, а потом спекся. Слухи поползли быстро, сначала одни студентки пожаловались, потом другие. Поначалу все перли к женщине – одной из профессорш, к ректору или местному завкафу жаловаться идти стеснялись. Как будто не по чину.

– Посыпался Петрович. Я тебя, Павел Фомич, как старшего товарища предупреждаю: держись в рамках, слава дурная пойдет, не отмоемся.

И ведь как в воду глядел. Первокурсница Анна Сурникова ему сразу в глаза кинулась: мощная грудная клетка, ножки как у циркачки, треугольник родинок и глазищи на пол-лица. Павел Фомич и повелся. Шутки шутил, ручки распускал, но не

выходил за рамки, держал в голове. По привычке уж и глаза горели и ус топорщился. И Анечка не так чтобы очень распалила его воображение. Видал он и покрасивше. Юлю все чаще вспоминал. Должно быть, замуж уже выскочила и детей родила. Пока печалился да предавался сладостным сожалениям – кратчайшим и ярким, как удар молнии, вкралась к нему Анька. Сама подходила, все спрашивала, набивалась в лаборантки. По вечерам ошивалась на кафедре, помогала собирать последнюю книгу.

– Я думала, вы пишете, а вы копипастите, – сказала она как-то, когда он линейкой водил по старому, истрепанному, еще советскому справочнику.

Разозлился тогда Фомич, закипел:

– Иди, голуба, домой. Мне в таких помощницах нет нужды.

Аня заартачилась, пыталась перевести разговор в шутку, но Фомич был непреклонен.

– Ах ты, старый кобель, ты у меня еще попляшешь!

Сказала, выскочила за дверь и хлопнула дверью. Нехорошо стало на желудке, заныла в пальце заноза, и даже заболела пяточная шпора, которая спала беспробудным сном вот уже пять недель кряду. Не обмануло предчувствие. Накатала, стерва, жалобу. Будто облапал, будто в трусы полез, а она, доблестная уроженка города-героя, от него отбилась. Сначала думал, ничего не будет. А потом пошла волна жалоб, за шуточки, за касания, будто заигрывал, флиртовал и выделявал, словом, реакцию Флэшмена.

Это он потом услышал про реакцию Флэшмена, как будто это не он этих куриц необразованных научил. Его, уважаемого человека, ученого, автора книг, заведующего кафедрой назвали мелким рогатым скотом, учуявшим козу в охоте!

Делегация от ректора не заставила себя ждать. Мол, допрыгался, Фомич, слезай с насеста по-тихому, подавай в отставку. Если будешь упрямитесь, всех подставишь, а я своей головой ради твоих амурных дел рисковать не хочу. Девушка крови твоей изопьет, мы ей комнатку получше, по учебе поможем, успокоится.

Пределно все ясно. Фомич снял чистый халат, повесил в шкаф. Встал на стул, потянул провод, тот распрямился и противно, тоненько так, заскрипел. Накинул на горло петлю, она обвила шею точно кобра. Подломил колени, взял на пробу крюк, крепкий. Закрыв глаза и представил комнату в дешевом отеле, девушку в белом с оборками лифчике и доверчивые, веселые глаза Юленьки. Иван Фомич оттолкнул стул и захрипел.

Глава 7

Аня и белые палаты

– Когда я умру, ты, Аня, не плачь!

– Не буду, дед.

Анна Юрьевна не любила осень. Но в этом не было ничего оригинального, а банальность, прозу дней, она не переносила. Жаловаться на коричневые комья листьев, на удушающий холод, на зябкие, покрытые цыпками руки и грязные джинсы – как это было просто. Но стойко падающий термометр, который сдавал деление за делением, оказывал одинаковый эффект на всех. Медсестры наливали себе чай и вытягивая верхнюю губу, как какой-нибудь Снусмумрик из книги Туве Янсон, дули на горячую воду.

Больных детей, которых она как будто-то бы должна была любить, потому что это дети, потому что у них пропахшие солнцем макушки, потому что спросонья они

дышат молочком и медом, и что не скажи – перл мой ясный, она не выносила. Их никто не любил. И хотя за работу в реанимационной палате коллеги ее звали Матерью Терезой, она была такой же, как и они.

Эти дети были особенными, каждый из них был тяжело болен. Больше чем лекарств и больше чем чистых простынь, они жаждали любви. Анна Юрьевна не могла заставить себя их любить. Сначала она очень старалась: не спала ночами, ломала спину, таская их на руках, переживала до спазмов в животе, ломоты в мышцах, до рези в глазах, а потом с бледным синюшным лицом ехала в общежитие, где не могла заставить себя даже переодеться и сразу валилась на кровать. Анна Юрьевна должна была взять нож и отсесть себя от них. И всё вернулось: бархат свежeweыстиранной кофты, запах кофе со свежей выпечкой и цветастый калейдоскоп выходных. Она стала по утрам крутить прическу, рисовать глаза, любоваться треугольником родинок на правой щеке. В отражении черных дверей «Не прислоняйся» она видела, что мужчины бросают на нее жадные взгляды.

И хотя она перестала чувствовать прикосновение липких ладошек, глаза – эти просящие, молящие глаза бездомных собак преследовали ее. Но она научилась кидать им подачку. В сущности, им нужно было очень мало. Того погладишь, этому скажешь ласковое слово, этому соплю утрешь – они и рады. Главное, не задерживаться, уходить раньше, чем их глаза превратятся в руки, и схватят, и порботят, и закуют в свои цепи. Она научилась делать все на бегу, быстро, аккуратно и расчетливо. Брала ночные смены, а утром, когда они тянулись стайками на завтрак, она находила для них нужные слова.

В редкие минуты, когда она смотрела в зеркало и видела не искаженный, а истинный свой облик, без слоя пудры и строительных лесов, она видела, в кого она превратилась. Там, под этой ровной кожей, она видела провалы, как будто вся осыпалась. Анна Юрьевна пыталась себя утешить тем, что она дает детям толику тепла, которую она знала, другие медсестры не давали вовсе. Они кричали, они хрипели, они грохали ладонями и требовали подчинения. Лица детей серели, головы вжимались, и было件нятно, что они скорее язык себе проглотят, чем издадут еще хоть какой-то звук. Послушные, тихие, они были милы взрослым. Но с некоторыми из них не было сладу. Одним из них был толстый, стокилограммовый мальчишка лет четырнадцати, который был дебилем, идиотом с лишней хромосомой. Он имел флэш-рояль диагнозов. Психически, физически, ментально он был нездоров. Он не вылезал из больницы, и лежал то с поносом, то с золотухой. Когда она ставила ему капельницу, он запускал пальцы – слюнявые, липкие, толстые – в ее волосы, прическу, которую она так тщательно собирала перед зеркалом утром. Он разрушал архитектуру, и ей требовало большого труда сохранять самообладание. Она ласково, но строго, звала на подмогу бабушку, которая, принося тысячу извинений, спешила на помощь.

Анна Юрьевна уходила, и долго еще стены коридоров отражали стук ее каблучков. Хуже других, хуже тупого мальчишки, оказалась новенькая, Оля Чибис. Как говорится, ничего не предвещало. Девочка долго валялась в реанимационной палате и не доставляла хлопот. Но когда она вышла из комы и стала соображать, где она находится и к чему это ее обязывает, она стала жаться ко всем медсестрам, как потерявшийся котенок. Она почти не улыбалась и тянула руки. Волосы, которые она давно не мыла, повисли, как листья больничного растения в грязной кадке. А когда ей делали клизму, она кричала, словно ее режут. Девчонка была домашней, балованной и страшно стыдилась, что ее сажают на судно посреди палаты, куда может заглянуть каждый. Когда Оля окрепла, то ее перевели в обычную палату. Анна Юрьевна почувствовала, как тяжесть летит с плеч, и вздохнула с облегчением. Но радовалось она преждевременно: девчонка ей просто не давала проходу. Анна Юрьевна, как

быстро она ни двигалась, все время обнаруживала на себе внимательный, напряженный взгляд. Девчонка стояла и смотрела на нее и иногда что-то шептала себе под нос. Однажды Анна Юрьевна ее спросила: «Что ты там шепчешь?»

– По грехам вашим, – ответила девчонка.

Анна Юрьевна измучилась нравственно и духовно, ей все труднее было держать маску. Она отходила от ее лица, и ее нужно было поддерживать руками, прикручивать шурупами и винторезами. Как-то она ставила катетер пациентке в четвертой палате и никак не могла нащупать вену. Страдалица нервничала и плаксиво морщила лицо. Оля стояла над душой, говорила под руку и неотрывно смотрела.

– Уйти, Христом Богом молю, – просвистела Анна Юрьевна ненавидящим шепотом.

Девчонка ушла не сразу, но ушла. Вечером Оля стала носиться как угорелая по коридорам, щеки покраснели, глаза блестели. Когда её зажали в угол, она начала крутиться, вдавливая в паркет пятки и выкрикивая что-то бессвязное. Анна Юрьевна вколола ей успокоительное. С выбившимися из прически волосами, она стояла над ее кроватью вместе с коллегой. Лицо Оли было прозрачным, руки худыми, а тело желтым.

– Как белены объелась, – прошептала Анна Юрьевна.

– Наоборот, вон вся белена на козырьке, – сказала Тамара, запахивая халат, который не досчитывался пуговиц. Анна Юрьевна удивленно посмотрела на сестричку. Тамара взяла ее под руку и подвела к окну. Подтаявший осенний снег обнажил черный рубероидный след, на нем, точно прыщи, красовались таблетки: розовые, синие, желтые, выбирай какие хочешь.

Анна Юрьевна оглядела спящих детей. Казалось, что после криков Оли, от которых чуть не падал потолок, они не должны были бы спать, но они спали. Мерно вздымались грудные клетки, лица разгладились, носы притихли, рты приоткрылись, раскинулись ноги и руки. Но даже в сонных, в них просвечивало что-то тревожное, набегали тень, ночь, холод и разрушали гармонию линий.

Тамара присела у одной из тумбочек и раскрыла нижний большой отсек. Она вытащила из пакета конфету, развернула и сунула в рот. Она выбросила вперед руку, в ладони что-то приятно шуршало. «Хотите? Вся ночь впереди». Анна Юрьевна яростно покачала головой и спросила:

– Заявите?

– Зачем? Заставят проверять. Открой рот, высунь язык, это же сколько мы с этой оравой возиться будем? А потом все на свои круги вернется, вот увидите.

Анна Юрьевна промучилась всю ночь, а утром, невыспавшаяся, с кругами под глазами, решила все-таки передать информацию наверх. Она подкрасила губы, пальчиком подогнула челку и постучалась в белую дверь с крупной табличкой «Зав. отделением».

– Тяжелый случай, – покачал головой Константин Николаевич, когда Анна Юрьевна, чуть задыхаясь, выложила все, что знала. – Сколько им говорил, что спасение утопающих есть дело рук самих утопающих, без толку. Чибис как сдавала мочу соседок по палате, так и сдает. А ведь это я еще на гельминтов не просил, – он сгорбил и посмотрел в окно. Под его правой рукой высились карты больных. Они пузырились своими картонными бортами, их тела распирала исписанные листы. – Спасибо вам, Анна Юрьевна, за сигнал, среагируем.

– А скоро Чибис выпишут? – спросила Кристина Юрьевна, надеясь, что в ее голосе не звучит отчаяние.

– Ну как вам сказать? Показатели из рук вон, держим ее уже второй месяц, а с места не сдвинулись. Но долго держать права не имеем, еще две недели понаблюдаем и отпустим на вольные хлеба.

– Может, с родителями дело быстрее пойдет?

– У нее отец только, и, знаете, такое ощущение, что не от мира сего. Лучше бы ее, конечно, долечить. Спасибо вам, Анна Юрьевна, вы всегда такая внимательная.

Похвала грела Анне Юрьевне сердце и даже прожигала кофту, но к палатам от кабинета врача она добралась мрачная. Тенью легло на чело сознание, что этот волчонок в человеческом обличье еще долго будет отравлять ей жизнь.

Глава 8

Аня и десятый шот

– Хороша штучка, когда болит ручка: кушать можно, работать нельзя.

– Дед!

– Аня!

– Две пачки чипсов съела, бутылку какой-то хуйни выпила, сосисками какими-то еще ебучими закусила. Дуба, думал, даст. А она такая: «Плати!» Хотел ее чем-нибудь пиздануть, но под рукой ничего не было. Пиво-то жалко.

Арташ навалился на барную стойку, ботинки зависли над полом. В темном помещении посверкивали лампочки, в такт инструментальной музыке звенело стекло, с кухни протекали запахи, а вокруг сновали симпатичные, но уставшие официантки. Одной из них Арташ даже развязал фартук, за что получил увесистое внушение от бармена. Ваня ковырял на бутылке этикетку и смотрел в зал.

– Вань, а Вань, в этом заведении красивых девушек не подают, – сказал Арташ, пытаясь подсунуть палец под ворот водолазки, чтобы с оттяжкой почесать.

– Ты чего так затонировался? – спросил Ваня, стаскивая с него очки. – На двенадцать часов три датых девицы.

За столиком торчали три студентки, их выдавал беспечный и в то же время распутный вид. Они не знали берегов и вели себя так, как ведут себя коренные народы на аудиенции королевы. Девица с распаренным от выпитого лицом что-то громко втолковала второй. Телефон ее то и дело проигрывал «Владимирский централ», доходя до слов «жизнь разменяна» и «тяжкий груз». Они громко разговаривали, явно рассчитывая на публику. Распущенные волосы одной болтались где-то у попы. Она то и дело разделала их на две половины и переводила вперед. Самым примечательным в ней была грудь, это Ваня сразу отметил. Другая крутила на руке кольца и скидывала глаза на всякого проходящего. Овчарка какая, подумал Ваня. Compliments она принимала как королева, но, как только поклонник отходил, ассимилировала со стенкой. Третья клевала носом. Перед ними стоял полный поднос с едва тронутой едой и опустошенная мензурка миллилитров на 500. На доньшке плескалось что-то прозрачное. «А хули нам красивым бабам», «Чтобы у нас все было и нам за это ничего не было», «Я бы ему дала...» Ваня кидал ухо вот уже минут пять и понял: время пришло.

– Какие это двенадцать, ты, бойскаут недоделанный, – Арташ извернулся, соскочил на пол и выпрямился. – Беру на себя пятый размер.

Ваня заломил ему руку за спину и предупредил, чтобы тот вперед батьки не ходил. Он пригладил свои патлы и вытер о штаны руки.

– Нам пять шотов за столик с тремя гуриями, – он махнул девушке в белом переднике и отвернулся прежде, чем успел заметить мелькнувшее на ее лице отвращение.

– Рано, видать, тебя мамка от груди отлучила, – Арташ пропустил Ваню вперед.

– Это мы с психологом на следующем сеансе обсудим, – сказал Ваня. Он было уже собрался обратиться к девушкам, но дорогу ему перерезал друг. Арташ всплыл у столика и распростер руки.

– Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, красивые, не скучаем?

– Те че надо? – сказала девица с длинными волосами. Она окинула его холодным взглядом, готовясь дать привычный отпор. – Пиздуй отсюда.

– Арташ, в самом деле, они пьяные, а не пятилетние. Девушки, мы тут с другом поспорили, кто из вас милее, румяней и блее всех на свете, – сказал Ваня, задвигая друга, как тумбочку.

– Да? И чего решили? – девушка с формами откинулась на стуле. Закинула ногу на ногу, ударилась ботинком о ножку стола и едва успела выправиться. Чтобы не испортить эффект, она крутанула в руках один из лежавших рядом коктейльных зонтиков. Подошел официант и поставил поднос.

– Вашему столу от нашего, – сказал Ваня, усаживаясь на лавку с девушкой, вскинувшей на него ищущие глаза. – Как вас зовут?

– Милена, – хитро сказала она. – А где ваш стол?

Спящая девица ударилась носом о сложенные руки, подняла голову, а потом уронила снова. Она дергалась так, будто ее кто-то топил в ведре. Ваня не обратил внимания на реплику, полагая, что расширенные алкоголем зрачки как нельзя лучше подходят для экспериментов доктора Месмера. Интересующая его девушка излучала животный магнетизм. Он размял плечо, нагнетая образ атлета. Арташ прибрал коктейльный зонтик и заигрался с ним.

– Даша, я отлучусь, – Милена вздернула носик, схватила сумку и поднялась.

– Арташес, проводи, – распорядился Ваня.

– Я в туалет, – возразила девушка.

– Арташ – рыцарь.

– Этот недоросток? – вскинулась Милена.

– Не хамите. Арташ, проводи даму.

– Миледи, – склонился молодой человек, высоко вздернув локоть.

Милена не удостоила его взглядом, и «рыцарь» понуро поплелся следом. Ваня установил контакт с грудастой девушкой и медленно, как Господь в день творения, протянул к ней палец и схватился за бижутерию у нее на шее.

– У моей мамы было такое же, – проникновенно солгал он.

– Побрякушка из сувенирки? – фыркнула Даша.

Ваня провел рукой по ее коже и сгреб в кулак «веру, надежду, любовь». Кожа была теплая и потная, а металл приятно охлаждал.

– Сюда иди, – сказал он и похлопал ладонью по лавке.

– Не пойду, ты иди, – отказалась Даша.

– Тут освещение лучше, лица твоего не видно. Голубые у тебя глаза?

– Сам смотри, – девушка неуверенно поднялась, а когда пересаживалась, все-таки потеряла равновесие.

«Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Ваня, изображая художника, повернул лицо девушки. От нее пахло лаймом и спиртом. Он с нажимом располосовал ее рукой от ремня до ключицы. Даша качнулась навстречу, и Ваня,

раздвинув ей губы, скользнул языком в рот. Она обхватила его шею руками, как будто тонула.

– Идем, Даша, этот урод до меня в туалете домогался, – Милена потрясла подругу за плечо. Грудастая девушка отпрянула и задела локтем спящую. Пока та хлопала глазами, Ваня отчитывал друга, надеясь, что ролик еще можно отмотать назад.

– Арташ, как не стыдно!

– Врет она все. Я рядом стоял, чтобы другие ни-ни...

– Как же рядом! В угол меня зажал, я говорю: «У меня парень есть». А он: «Парень не стенка, подвинется», – и под юбку. – Пошли, Даша. Ира, вставай!

Милена потянула девицу вверх. Ира открыла мутные глаза и громко икнула.

– Че-то нехорошо мне, – сказала она, мужественно сражаясь с подступающей тошнотой.

Даша перехватила хвост и засобиравалась. Иван недовольно посмотрел на Арташа, тот пожал плечами и отвел глаза.

– Милена покинула чат, – заявила «овчарка», и девушки ушли.

Ваня пятерней забрал с лица волосы. Официантка принесла еще пять шотов.

– Ну, за тебя! – сказал Ваня и опрокинул первый.

– А соль, а лайм? – участливо спросил Арташ.

– Сам жри свой лайм.

– Не виноват я, целка попалась. Я ей руку на колено, а она – в тремор.

– Что же, ночь темна и полна ужасов, не склеим, так напьемся. Я тебе рассказывал, что папашей скоро стану?

– Кто счастливая мать? Аня Роковые родинки? – Арташ приспустил на кончик носа очки.

– У Сюточки мозгов довольно. Нет, другая, с третьего курса. Я ей лабораторную помогал делать. Она такая, знаешь, вся в облаке розового: ногти, губки, юбки, не поверишь, даже трусы и лифчик. Три раза, короче, ее.

– И залетела? Чему только их родители учат? Как единорогами управлять? – Арташ обхватил руками голову и зачумлено посмотрел на друга.

Ваня выпил еще один шот.

– А потом звонит и спрашивает: «Замуж меня возьмешь?»

Арташ поперхнулся.

– Тише-тише, не переводи ценную жидкость. Я ей так и так, замуж только по любви ходят. Давай, говорю, аборт проплачу. А она – наотрез.

– Религиозная?

– Хуже, тупая. Говорит, академ возьму, бэбика рожу, учиться надоело. Ты меня замуж возьми, а мой папа тебе поможет, подмажет где надо, а где не надо уговорит.

– А чего, папа и вправду может?

Ваня мрачно кивнул.

– Может. Нас на стадике загребли, серьезные такие шпики, и давай рисовать дело.

– Пили чего?

– Конечно, но дело не в этом. Они бульбулятор из мусорки вытащили. Фокусники! Говорят, ваш.

– Наркота?

– Нет, травка кошачья, – Ваня скривился, стряхнул зонтики на пол. – Мы уже деньги стали считать, а она такая: «Я сейчас», – и звонить стала.

– Папе? – спросил Арташ, растирая по лицу соусные усы.

– Папе, папе. Короче, отмазал.

– Хороший папа. Слушай, женись, Ваня, я тебе как друг говорю, – Арташ помотал перед лицом друга пальцем.

– Не, жениться, это я не могу. Рано мне, не нагулялся. Сюточка опять же.

– Далась тебе эта Сюточка.

– Ты вот трахаешь беременную подушку своей матери, а у меня для этих целей Сюточка есть. Я тебе рассказывал, как она под орех своего декана разделала?

– Она же мужика на тот свет отправила, – поморщился Арташ, вгрызаясь в лайм.

– А я о чем? Сюточка вывезет. А эта кукла всю жизнь за батяней стоять будет. Мне что, замужем за ее папой быть? Не пойдет.

– Мальчики, к вам можно?

Над ними качалась затаенная в стрейч женщина с густой, пышно взбитой шевелюрой. На вид ей было под тридцать, но под слоями косметики мог скрываться и другой возраст. Она шлепала своими губами, и от частого взмаргивания, казалось, могли выпасть глазные яблоки.

– У нас свободная и гостеприимная страна, падайте, – Ваня решительно подвинулся, не обращая внимания на Арташа, который выражал протест категорическим отказом. «Нет-нет-нет» превратилось в ультразвук.

– Секретничаете? – женщина вынула зеркальце и, дыхнув на него, затуманила свой облик.

– Больше нет, – ощерился Ваня.

– Эй-эй, еще на наш столик, – крикнул Арташ, хватая за передник официантку.

– Гуляете, мальчики? – женщина положила маленькую руку Ване на плечо и прошлась большим пальцем с красным ногтем по шее. А потом присосалась к его верхней губе. Арташ отодвинулся, запустил видео с Тик-Тока и забормотал:

– Кринж ебучий. Так свою жопу и эдак. И ладно бы красивые, – он завозился перед экраном и стал поедать давно остывшие ломтики картошки. Побежали кадры онлайн-игры, и он кинул телефон на стол, но перед тем как экран коснулся поверхности, замах смягчил: – Встратая реклама!

Стол пошатнулся, и два кулака уперлись в доски. Ване поднял голову и чуть слюной не поперхнулся. Так выглядят неприятности: шея толстая, косая сажень в ногах и плечах, а отступать некуда. Когда мужик обращался к девушке, лицо его было даже милым, так в мультиках чудовищ изображают: вроде страшный, а покормить молочком хочется.

– Светка, кончай. Я же пошутил. Нашла к кому ревновать – к официантке.

– У меня теперь новое интересное знакомство, – Света отодвинулась и утерла пальчиками уголки губ. Ваня держал ее за талию, как рулон ковровина, а она липла к нему.

– Отвали, видишь, дама не хочет, – бросил Арташ, пытаясь отжать крестик.

– Тебя, чурка, не спрашивали, – красное лицо побагровело.

– Ты кого чуркой назвал, это же мой брат кровный, из одной титьки молоко тянули! – Ваня вскочил с лавки и встал против мужика.

– Вот ты, растаман, чудовый, – сказал бычара и лбом въехал в переносицу.

Ваня крикнул, сглотнул вязкие сопли с железным привкусом, согнулся и почувствовал, как кровь из горла поперла обратно. Прилёг, отдышался, сделал упор лежа, подскочил. Развернул плечи и дыхнул на быка текилой. Стукнулась грудь о грудь. Прилетел удар, скулу расплющило, заветвились по аксончикам и дендритикам императивы, мозг разнесло от миллиарда взрывов, и увидел Ваня, что пол опять становится ближе. Арташ кинулся в драку. Они с Ваней навалились на мужика и ползали по полу, как карапузы в детском саду. Справлялись они с моторикой избитых

конечностей едва ли лучше. Чоповцы вытряхнули их на улицу, как котят из мешка. Щеку ошершавил асфальт, и цокнули зубы. Ване стало холодно, он почувствовал, как озноб пробрал тело. Арташ рванул его вверх, и Ваня, оскальзываясь на молодом льду, поднялся. Из бара вывалились мужики, всего их было шестеро. Лбы как на подбор: заборы сшибать.

– Бля, да их целая банда. Ходу! – крикнул Ваня.

Ваня с Арташем бежали быстро. Темные улицы с вкраплениями фонарей, реклама на билбордах летели им в лицо, как снег. Красные дороги, залитые фарами, представлялись им багровыми реками. Они застряли на светофоре и мучительно отсчитывали секунды. С таким нетерпением они никогда не ждали Нового года. Ваня залепил нос майкой. Арташ баюкал левую руку. Они влетели во двор, заматались по детским лабиринтам, уткнулись в мусорку, оперлись на колени и тяжело задышали. Их нагоняли прогулочным шагом. Один бык подцепил и нес, как коромысло, какую-то шпалу.

– Идите сюда, собаки, ептыть. Твою дивизию! Вы двое, дебилы!

– Ваня, чего это у них?

– Дворником мама тебя быть пугала?

– Лопата? – спросил Арташ. – Я только сегодня юзал маску с абсорбирующим эффектом.

Ваня успел ударить два раза, потом свалился. Били по животу, давили пальцы, выкручивали руки, и он увидел, как Арташ согнулся пополам и что из него, как из лейки, хлынула кровь. Ваня закачался на четвереньках и вдалеке увидел мигалки. Раздался круговой сигнал: «вуап-вуап», и полицейская машина медленно вкатила на задворки. Ваня, хватаясь за ребра, сел на бордюр. Он высунул язык до подбородка, а потом медленно исследовал рот. Чудом все зубы оказались целы. Острился задний премоляр, но это, может, только с перепугу ему казалось. Лужа отсверкивала огнями, он зажмурился и открыл глаза. Все казалось нереальным: дома прыгали, дорога плыла, баки двоились, небо исходило крошкой. Весь мир был в движении и не переставал кружиться. Фонари кололи своим шипастым светом, крысы шуршали, как дискотечные децибелы, нос саднило так, будто его ломали раз за разом, и эхо ударов только нарастало. У мужиков проверяли документы. Ваня повернулся к другу. Арташ лежал, запрокинув голову, под затылок натекла кровь. Ваня сорвал куртку и подложил, как подушку. Он схватился за пульс, задрал веки. Он тормозил Арташа, надеясь, что друг вскочит и как ни в чем не бывало отмочит какую-нибудь шутку.

– Документы, – услышал Ваня. Он поднял глаза, мужики исчезли, и даже тени их растворились. На улицах не было ни души. Окна домов горели желтым, горчичным, розовым, синим и даже зеленым, но все эти глаза были слепы. Они были обращены внутрь и любовались уютom, поздним ужином и может быть тем, как внучка играла дедушке на фортепиано.

Ваня начал рыться в карманах, вытащил за корешок паспорт, согнул и даже надорвал страницу. Вспомнил, как они, мелкие, ржали с Арташем, подставляя на последней странице вместо «паспорта» слово «жопа». Он сунул в руки полицейского «документы» и принялся жать на горящие клавиши. Телефон отобрали. Подошла вторая пара ботинок.

– Этих пакуем.

– Правый пыжик протекает, – ответил младший.

– Его в больницу нужно. Они ему голову разбили. Вызовите скорую, – Ваня надсаживался так, будто бы его могли услышать. Ему казалось, что друг умирает вот прямо «счас» и что ему обязательно помогут. Всего-то нужно включить мигалку, на всю громкость завести «вуап-вуап» и на всех скоростях гнать в больничку.

– В нашей палате одни капитаны – у каждого свое судно, – сказал старший. – В отделении разберемся.

– А если не довезете, вам отвечать потом, – Ваня озлился.

– Сколько в тебе промилле? – спросил молодой, приподнимая фуражку и проводя рукой по короткой стрижке. – Хочешь помочь другу, хватай с того конца.

Ваня утер соплю и взялся за плечи. Арташ был тяжелым, голова моталась, а под глазами было все синее. «Кожные покровы бледные», – пронеслось у него в голове. Дверца хлопнула. Перед лицом Вани оказалась сетка.

– Я говорю, в больницу везите, – упрямо сказал он.

– Василь Иванович, ты посмотри, молодняк какой борзый пошел, – к Ване повернулся младший и беззлобно засмеялся.

– Старо как мир. Кто самый борзый, первый мамку звать будет, – сказал второй и завел машину.

– Дайте телефон, я позвоню, – Ваня почувствовал, как голос его задрожал. Красный и синий цвет разлетался вокруг машины. Ему казалось, что это лопасти какого-то диковинного вертолета, что сейчас взревет мотор, и они взлетят, распорют самурайскими мечами ночное небо, сядут на площадку Склифа. Навстречу выбегут врачи, примут Арташа, сунут под кожу иглу и пустят по его жилам живительный раствор.

Глава 9

Аня и волшебный ларец

– Ехал, Аня, мотоциклист на большой скорости. По груди ему лупил бегунок молнии. Дай, думает, куртку переверну. Остановился, переоделся, едет дальше. За поворотом улетел в кювет. Остановились двое. Видят, непорядок: грудь мотоциклиста в одну сторону смотрит, ишем в другую.

– И что они сделали, дед?

– Повернули голову.

Отец позвонил вечером и сказал, что бабушка умерла. Я ни черта не соболезнавала и даже не знала, что это такое, но все-таки произнесла: «Я соболезнаю». Удивительный глагол, его пускают в ход несколько раз в жизни, и то по случаю смерти. Другие слова не подходили, а правду говорить было нельзя.

Дед умер в тот же день – пятого мая – двадцать лет назад. Он не мог умереть своей смертью. Это было ясно. Она его убила. Сначала она всем сказала, что он ударился головой о ведра, которые стояли внизу лестницы. Что он разбился, когда вышел в туалет. Но дед пьяным всегда ссал в раковину. Потом она говорила разное. Деда ударила копытом корова. Что-то про недостроенное крыльцо и балки на земле. Плела, что той весной силы оставили его и что он даже не хотел жить. Позже я позаимствовала эту формулировку, чтобы отвечать на вопросы о матери, но я говорила правду, а она нагло врала. Бабка так никогда и не призналась, что толкнула деда, что он, не удержавшись на ногах, полетел кубарем вниз, ударился о ступеньку и проломил себе череп. Отец попросил меня найти в старых коробках фотографию на памятник и сказал, что бабушку похоронят рядом с мамой.

Долго стоял поезд в тоннеле. Какой-то парень вещал по телефону, как будто стоял у микрофона: «Перед отпуском я письмо бывшей написал. Блок нужно было выбить. Мое сердце было готово к любви, и любовь пришла. Что? Да, ее Любой зовут.

Знаешь, что говорит: “Сто оргазмов за раз”. А ты думал, тантрический секс. Я такое в потоке выдаю! То, знаешь, и двух капель не наберется, а тут целое озеро ей на живот выплеснул. Так только по любви бывает». На парне была расхристанная, веселой расцветки рубашка, он был вдрабадан пьян, и слонялся по всему вагону, как будто это могло ускорить спотыкающийся ход поезда.

Остаток дня я провела на антресолях. Еще одно смешное слово, которое обозначает доски, прибитые сантиметрах в тридцати от потолка. На антресоли заталкивают все, что следовало бы выкинуть. И вот эти детские велосипеды, чемоданы с ворохом полуистлевшей одежды, чертежи в тубе, печатные машинки в чехлах, коробки с фотографиями давно умерших людей и сумки с армейскими сапогами зарастали пылью. Я была первая, кто их навестил за последнее десятилетие.

Мохнатая коробка на сквозняке шевелилась будто паук с жирным телом. Я водрузила хранительницу памяти на ламинированную, тщательно вытертую столешницу. Когда я выросла, стала предпочитать ДСП древесине. Такие столы притворялись чем-то иным, и в этот обман хотелось верить. Бабушка часами могла соскребать грязь ножом с деревянного, сколоченного из досок стола. Я следила за этим равномерным чирканьем и вслушивалась в бабушкин голос. Она заговорила мне зубы огненными конями, скатертями-самобранками, яблочками на блюдцах с голубыми каемочками, свирелью, Иванами-царевичами и Жар-птицами. Подперев руками щеки, затаив дыхание, я слушала сказки, а снаружи скребли дом ветки. Я закрывала глаза и представляла себе собаку с длинным высунутым языком, у которой в темноте горели большие глаза-плошки.

Среди чайников с цветами, кружек с забавными надписями коробка, кособокая и неказистая, смотрелась лишней. Коробки тоже стареют, картон высыхает и твердеет, как старая апельсиновая корка. Я разогнула края и надорвала боковушки. В воздух поднялась серая взвесь и осела на белых кружевных салфетках. Новая жена отца была чистюлей, какой никогда не была моя мать.

Передо мной лежала целая кипа фотографий, и я понимала, что этот замечательный майский день я проведу в компании мертвецов. Я вытянула первый семейный снимок. «Вас бы на афишу», – прошептала я и вздрогнула. В квартире, кроме меня, никого не было.

Я разогнула спину только вечером. Для памятника подходили только три фотки, другие были слишком мелкими и нечеткими. Я щелкнула их на телефон и переслала отцу. Пока он думал, я поставила чай. Хозяйничать в доме детства, который переменял облик, было неприятно. Похожее ощущение испытываешь в лаборатории, когда засеиваешь одну культуру, а вырастает совсем другая колония. И вот ты смотришь на эту цветную щетину и понимаешь, что даром потратила две, а то и три недели.

Я прошлась по комнатам и остановилась перед стеной с фотографиями. Отец с женой и маленький мальчик. На стекла светило солнце, и они казались охваченными пламенем.

Телефон закрутился на столе, и если бы я не подросла вовремя, он бы, верно, упал. Отец прислал сообщение: «Ты специально выбрала фотографии, где бабушка похожа на тебя?» Я разбила чайник с розочками о стену и вытерла заварку с пола кружевными салфетками. Вернулась в общагу поздно, но отец позвонил еще позднее. Он не был пьян, но говорил неразборчиво. Сказал, что бабка незадолго перед смертью прыгнула в лестничный пролет. Не убилась, но бедро сломала. Далее последовало молчание, я сказала, что устала, и нажала отбой. Ваня уже спал. Я забралась в кровать, и он, полусонный, обнял меня.

По полу стелилось солнце. Под крышей курлыкали голуби, а голубое небо вливалось в окна. В зеркале отражались крепкие руки, ноги, выпуклый живот, на котором билась жилка. Я потянула носочки и перекатилась на край постели. Его половина была еще теплой, и я отбросила одеяло. После секса тело было легкое. В комнате витал запах кофе, сиял чистотой стол, а в стакане торчал фиолетовый цветок неожиданно расцветшего лука. В зеленых перьях я обнаружила маленького паучка и смотала на палец паутину. Из ванной доносился плеск воды. Я подошла к окну, закрыла глаза и подставила лицо солнцу.

Ваня никогда не вытирался, и его кожа была усеяна мелкими каплями. Я вытащила из холодильника сыр и масло. Он покромсал тупым ножом хлеб и вскрыл банку с вареньем. Мы ели из одной тарелки, я не слезала с его колен.

– Долго мы еще будем жить в общежитии? – спросила я, обводя глазами бедные декорации и для пущего эффекта воздевая руки. Ваня сразу нахмурился, и ножик чиркнул по поверхности стола. Лицо у него было помятое, пару дней назад он «знатно погудел и даже подрался». С синяками он мне нравился больше.

– На сеструху мою даже не рассчитывай, – отрезал он.

– Так возьми ночные смены, их по двойному тарифу оплачивают.

Ваня наблюдал за мной, как будто я выделываю какой-то сложный акробатический номер, а потом покачал головой.

– Ты же знаешь, легко только кошки рождаются, – продолжала я убеждать, исполняя в одностороннем порядке эскимосский поцелуй.

Ваня провел пальцами по моим родинкам, будто сметая пыльцу, и велел закрыть глаза. Я не послушалась, и через секунду мои ресницы затрепетали под его ладонью. Пока я пыталась ослабить хватку, он разжал колени. Я падала спиной и успела даже подумать о табурете, который стоял рядом. Ваня поймал меня за майку и вытянул наверх. Я вцепилась ногтями в его плечи, а он небрежно стряхнул крошки на пол. С черно-белой, чуть в желтизну фотографии на нас смотрела бабка.

Она стояла возле бревенчатого дома и обнимала белую березу. Развалины Куркова дома закрывали темный размытый лес, в котором, я хорошо знала, жили лешие и водяные, сидели на ветвях утопленницы, и по весне, в мае, звали своими тоненькими голосами, заманивая в болото доверчивых, любопытных и жадных. Там, в глубине болота, цветет папоротник и бегают огоньки, там тебе всегда рады. И в самую сильную грозу, когда порывистый ветер снимает шифер, рвет бельевые веревки и ревет, как медведь после спячки, они, майские утопленницы, выходят на поляну, надевают венки и, сливаясь в белом магическом кольце, пляшут в хороводе.